

Константин Леонтьев

Консульские рассказы



Константин Николаевич Леонтьев

Консульские рассказы

«...Я получил неожиданно, из источника весьма серьезного, крайне важное и в высшей степени секретное сообщение о том, что один галицийский революционер едет ко мне в Тульчу волновать наших русских раскольников и надеется, выдав себя за воскресшего снова императора Петра III, через их посредство поднять в самой России ужасную пугачевщину.

Настоящая фамилия этого опасного врага была обозначена в секретном письме, но теперь я ее не помню...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0017
III.....	.0028

**Константин Николаевич
Леонтьев
Консульские рассказы**

Я рассказывал о моих личных отношениях с разными представителями Речи Посполитой, нашедшим в то время приют на берегах Дуная, о ненужном и даже не совсем приличном моем визите к полумертвому Воронину, о приятной компании хитрого Жуковского, о детских бравадах и поспешном покаянии пьяных и полупьяных молодых людей. О тогдашних политических делах «полонизма» в Тульче я не сказал еще ни слова, потому что их вовсе не было, этих политических дел. После неудачной и безумной попытки Мильковского все надолго притихло. Но чтобы рассказ мой был оконченнее и полнее, я припомню только одну историю, которая грозила принять серьезные размеры политического дела, но кончилась ничем и очень скоро.

Я получил неожиданно, из источника весьма серьезного, крайне важное и в высшей степени секретное сообщение о том, что один галицийский революционер едет ко мне в Тульчу волновать наших русских раскольников и надеется, выдав себя за воскресшего

снова императора Петра III, через их посредство поднять в самой России ужасную пугачевщину.

Настоящая фамилия этого опасного врага была обозначена в секретном письме, но теперь я ее не помню: Каминский, Каменский, Карицкий – забыл; будем его звать Каминским. Другую фамилию, ложную, под которой он должен был действовать в придунайских городах, я помню хорошо: Гольденберг. В секретном письме было еще одно крайне важное сведение о главном политическом представителе некрасовцев, знаменитом старике Гончарове. Сообщалось, что Гончаров заодно с Гольденбергом, и что даже существует собственноручное письмо его к кому-то из поляков, безусловно обличающее это преступное участие старого и давно уже дружившего в то время с нами раскольника.

Не шутка! Извещение, или предостережение это, повторяю, шло из весьма надежного источника, и я обязан был обратить все силы моего внимания на подобный Слух.

Что делать? С кем поделиться столь важным секретом? Ведь слово «секрет» не значит

же в подобном случае, что надо сосредоточиться над ним в тиши кабинета и молчать...

Я начал, разумеется, с самого простого: обратился к Николаю Осиповичу Глизяну, вольнонаемному секретарю нашего консульства, и, не говоря ему, откуда у меня это сведение, велел ему следить за неким Гольденбергом – не явится ли такой человек в городе нашем. Глизяну заняться этим было легче, нежели кому-нибудь; он был человек молодой, холостой, на месте давний, всех знал; в городе был любим за веселость, несколько циническую, но иногда очень остроумную, и все свободные часы свои проводил по кофейням и тому подобным публичным местам, которых в Тульче очень много. Любил и выпить, как настоящий русский человек, но и пьяный был тверд и надежен.

Поручивши ему следить за первым появлением заговорщика, я решился немедленно на другой шаг: я послал за стариком Гончаровым, и запершись с ним в кабинете, прямо спросил его: знает ли он поляка Каминского (положим).

– Каминский?.. Каминский? Нет, такого не

знаю...

– Не знаете... Ну, так я вам, Осип Семеныч, вот что скажу: вы уверяете нас в преданности вашей; вы первый подписались на адрес дунайских староверов Государю; обманули тогда и поляков, и русских бунтовщиков Герцена и Кельсиева; ходите к нам, и не только нами, консулами, но и генералом Игнатьевым приняты хорошо. Смотрите, теперь есть случай вам послужить России. Этот Каминский замышляет какой-то вздор – бунтовать раскольников ваших против России. Конечно, это смешно, и что он может сделать... Но все-таки он хочет представиться Петром III и попытаться счастья.

Гончаров улыбнулся и покачал головою...

– Что же Петр III для наших староверов! Это для них ничего не значит. Их этим не поднимешь. Вот для скопцов – другое дело; да ведь их мало. Да и какая же теперь в России может быть пугачевщина; после того как мужикам волю дали – совсем другое дело стало. И мы здесь видим разницу. Прежде народ сюда из России валом валил; потому – у турка – воля. А теперь совсем и нейдут сюда... Это по-

ляки глупости одни затевают...

– И я думаю то же самое, – отвечал я. – Конечно, они ничего теперь сделать не могут; но вы знаете, что моя обязанность за всем подобным здесь следить. А вам – это прекрасный случай доказать, что некрасовцы в самом деле стали опять настоящими русскими людьми и даже тени злоумышления против Государя и против России не допустят...

– Будьте покойны, К<онстантин> Н<иколаеви>ч; уж положитесь на старого Гончара... Я уж все вам отрапортую вовремя...

После разговора с Гончаровым я увидался и с Жуковским; и у него попробовал, между прочим, спросить – не знает ли он галицийского уроженца Каминского... («Гольденбергом» я его не назвал, чтобы Жуковский не знал, что я Гольденберга ожидаю в Тульчу). Жуковский начал раздумывать не хуже Гончарова и сказал потом решительно: «Нет, Каминского не помню; кажется, не знавал»...

Ему я не поверил; мне хотелось только испытать его.

Несколько дней еще спустя опять пришел Гончаров и сказал мне так:

– Вот вы спрашивали о том поляке, я теперь вот что вспомнил. Сидели мы недавно с Жуковским у нашего (т. е. староверческого) попа Григория. Я стал об Василии Кельсиеве вспоминать и говорю: хоть и безбожник он был, и детей своих не крестил, и пьяница, а уж что за умнейший человек-то... Вот голова!.. И говорю Жуковскому: у вас небось таких нет. А он говорит: «И у нас тоже есть не хуже Кельсиева и по учености, и по всему; вот хоть бы Каминский».

Таким образом подтвердилось мое подозрение насчет того, что Жуковский лжет, буд-то он этого революционера не знает. На первый раз мне больше ничего не было нужно; я мог ждать «Гольденберга», как ждет опытный охотник медведя, которого уж выследили ему соседние мужики...

Долго не было о нем никакого слуха. Глизын был хорошо знаком и дружен с одним греком, турецким чиновником; он попросил его известить нас о приезде одного «Гольденберга», просил как о деле частном, не подавая греку никакого вида, что этот человек имеет политическое значение. Грек обещал.

«Милости просим, г. Каминский! Я очень рад», – думал я.

Проходит день, проходят два, проходит, может быть, целая неделя. Ничего особенного не слышно. Никто ничего как будто и не знает. Конечно, срок этот слишком короток... Какой политический замысел можно не то чтобы осуществить, но даже и начать в одну или две недели, и тем более в новой среде?.. Подождем!

Мне очень хотелось, чтобы Гольденберг обнаружил свое присутствие в Добрудже какими-нибудь действиями, стоящими серьезного внимания... Приятно мне было бы сказать ему: «Nec plus ultra!»[1]... и противопоставить его смелым интригам Геркулесовы столбы моего официального значения... ну... и разумеется... моей личной сообразительности...

Охотнику становилось немного уж скучно; зачем галицийский медведь так долго не подходит к русскому стаду.

В это же самое время, как снег на голову, свалился вдруг откуда-то другой таинственный полячок, низшего звания. Лицо у него было какое-то солдатское, широкое, сухое,

скуластое; усы щетинистые, движения резкие; глаза злые, смелые, лукавые...

Он явился ко мне в сумерки; объявил, что имеет сообщить нечто важное, и представил мне «permis de residence»[2], подписанный одним из наших дунайских консулов. Обозначен он был на этом виде «варшавский выходец такой-то» (какой именно – забыл).

Паспорт был просрочен. Что такое: «варшавский выходец»? Просто значит – беглый или эмигрант... Справиться тотчас же у того консула, который выдал ему такой особенный вид, я не мог; не мог немедленно узнать, зачем мой придунайский сослуживец (человек очень опытный и к службе в высшей степени внимательный) выдал этому подозрительному человеку такой «уклончивый» паспорт. Или он был и есть просто «русский подданный», или он именно из тех «варшавских выходцев», которым въезд в Россию запрещен за участие в восстании. Если он из последних, – в какие же именно подданные он записан: в турецкие, в австрийские, в румынские? Зачем же ему, под чужою властью и в чужой стране, русский или полурусский вид,

когда он в Россию въезжать не должен?..

Я взял этот странный вид и спросил у таинственного незнакомца, что такое имеет он мне сообщить. Он принял вид грозный и трагический и воскликнул с очень грубым акцентом:

– Я хочу ехать к генералу Коцебе (Коцебу), в Одессу, для приготовления войска... Потому что из Галиции будет скоро атака... Кавалерия во столько-то тысяч... (Не помню, сколько он сказал.)

– Вы хотите, чтобы я вам дал денег для поездки в Одессу к генерал-губернатору?..

– Да, конечно, деньги нужны, – отвечал он. Я сказал ему:

– Денег я вам немного дам, если вам нужно, а в Одессу ездить подождите; я не верю этому слуху о нападении из Галиции; но если в самом деле будет что-нибудь нужное, – я и сам могу письменно известить генерала Коцебу. А вы, если желаете, то можете сообщать нам сведения всегда, когда угодно. Вы мне и здесь пригодитесь. Паспорт ваш просрочен; я его возьму, а вам, если хотите, выдам новый, когда понадобится...

Это еще что за человек?.. Вид у него смелый. Он в своем роде может быть и опасен, и полезен нам, смотря по обстоятельствам. Мне хотелось взять его на всякий случай покрепче в руки. И я, подумав, решился даже выдать ему новый паспорт, просто как «русскому подданному», сохраняя в столе моем на всякий случай, как оправдательный документ, просроченный «*permis de residence*», выданный консулом, который слыл скорее осторожным, чем слишком решительным. Я решился поступить не совсем правильно «по форме» вот на каких основаниях. В странах этих – в Турции, в Элладе, в дунайских небольших государствах – всегда было много людей с неопределенным подданством; разные «*proteges*», полуподданные; люди, имевшие по два вида, один по одной причине, другой – по другой...

Даже англичане и те изредка выдавали какие-то сомнительные документы чужим подданным, ввиду каких-нибудь особых целей. Я говорю: даже англичане, потому что стать действительным гражданином Великобритании гораздо труднее по существующим в Ан-

глии обычаям (или законам, не знаю), чем стать подданным австрийским, русским, турецким, греческим, французским и т. д.

«Политическая» цель даже и у английских чиновников нередко оправдывала на Востоке неважные по последствиям наружные нарушения формального порядка и законности.

Я для того назвал моего скуластого пройдоху в новом паспорте на французском языке «русским подданным», чтобы при случае нам было бы легче его вдруг схватить и распорядиться с ним как угодно. При виде такого паспорта и турки, и румыны могли меньше мешать нам в подобном случае, да и раз если нужно, схватить его, я готов был бы на бумаге препираться с иностранными властями сколько угодно, до тех пор, например, пока мое собственное начальство не приказало бы мне освободить его.

Я дал ему немного «злата» и отпустил его пока на все четыре стороны.

Со староверами у меня в то же время отношения все улучшались не по моим только стараниям, но и сами собою – что гораздо лучше. Счастливые побочные случайности

скрепляли эти узы, и мне оставалось только жалеть, что «медведь» не ревет, не показывается и не поднимается грозно и страшно на задние лапы...

Увы! он так и не заревел и не поднялся, а показаться – показался, положим, он мне, и совершенно неожиданно, но очень невинно, любезно и мило... Увы!

Я не могу не отвлечься...

Я сказал, что с дунайскими староверами сношения мои сами собою (хотя, разумеется, и не без некоторых стараний с моей стороны) все улучшались и становились дружественнее и теснее около того именно времени, когда дошел до меня слух об *исполинских* замыслах «Гольденберга».

Епископ славский Аркадий был у меня с визитом, просидел очень долго и беседовал со мною очень душевно. Тульчинский староверческий священник о. Григорий посещал меня нередко и запросто, говоря, что всем я хорош, только одним плох: «бородку бреете; этим вы хуже прежнего консула К-ва; тот не брился, и за это мы его очень любили»... Про Гончарова и говорить нечего: он просиживал у меня по целым часам, и общество его было одно из самых приятных в мире. Беспоповцы тульчинские несколько больше чуждались нас, чем все эти названные мною представители белокрыницкой (имеющей священников) паствы.

Я не думаю, чтоб это происходило от поли-

тической враждебности – ничуть, прежняя ненависть давно угасла, и вместо нее было и у беспоповцев заметно доброе к нам, «государственным никонианцам», расположение; я думаю, что беспоповцы гораздо реже показывались в консульство по двум причинам: во-первых, просто потому, что они были грубее, *серее* людей белокриницкого толка и не имели у себя представителей, ловких и опытных в обращении с людьми всякого рода и звания, а во-вторых, по причине разных мелких религиозных неудобств и препятствий; например, хозяин дома, в котором я жил на берегу Дуная, богач-беспоповец Филипп Наумов, вынужденный обширными торговыми оборотами своими водить дружескую компанию с разными иноверцами, по кофейням и тому подобным местам ходил *охотно*, но *всегда носил с собою в кармане свой собственный стакан, чтобы, угощая других, пить чай все-таки из своей посуды*. Гончаров и другие «поповцы» были с этой стороны свободнее, и это, конечно, облегчало им с нами сношения.

Но при случайных встречах и делах со мною и беспоповцы были очень благосклон-

ны и уважительны...

Тульчу и консульство мое посещали от времени до времени и староверы румынского берега.

У них был свой вождь и представитель, которого никогда почему-то по фамилии не звали, а все только Семен Васильевич. Это был пожилой, умный, солидный, себе на уме, но все-таки честный и добрый русский мужик, наружности весьма приятной и почтенной. И Василий Кельсиев о нем говорит в своих статьях с добрым чувством. Семен Васильевич был с Гончаровым почти во всем заодно, и русской политике охотно служил еще задолго до моего приезда. Но к тому времени, когда я ждал с нетерпением своего галицийского противника, совершенно побочный семейный случай, как-то особенно кстати и очень сердечно, сблизил нас с этим румынским политиком староверчества. Молодому сыну Семена Васильевича, парню ражему, здоровенному, рыжеватому, но довольно приятному собою, очень понравилась одна тульчинская «беспоповская» девушка. Где он, живший с отцом в Молдавии, по ту сторону Дуная, ви-

делся с нею, как он с нею сблизился – не знаю; вероятно, ездил по делам каким-нибудь в Тульчу – только кончилось все это тем, что девушка эта в него влюбилась и решилась тайно от своего отца обвенчаться с ним.

Молодой человек открылся своему отцу. Семен Васильевич охотно согласился и взялся сам помогать сыну. Они приехали с этой целью в Тульчу. Выбрали такой час, когда отец невесты уходит из дома по каким-то делам; отец Григорий поспешил приготовить в церкви все, что нужно для венчания. Невесте дали знать; она нарядилась и, никем в доме не замеченная, бегом убежала в церковь. Семен Васильевич с сыном уже ждали ее. Венчание началось; народ соседний узнал, и скоро церковь наполнилась любопытными... Отец был где-то далеко и ничего не подозревал. Наконец кто-то из близких ему людей отыскал его и сказал:

– Что ты тут делаешь?.. Твою дочь уж в церкви без тебя венчают.

Отец прибежал в церковь, но таинство уже было совершено. и обряд приближался к концу. Семен Васильевич подошел к беспоповцу

и дружески сказал ему:

– Ну, что, брат, делать, прости ты нам! Видно, на это Божья воля. Теперь уж не ищи ты их разлучить.

– Ну, что делать! Пусть будет по-вашему, – отвечал беспоповец и помирился.

Семен Васильевич на другое утро был у меня развеселый, сам всю эту историю мне рассказал и просил позволения вечером привести ко мне молодых «на поклон». Я с радостью согласился.

Как нарочно, с поздним австрийским парходом в этот день приехал ко мне еще гость из Галаца, Митрович, агент нашего русского пароходства.

Когда стемнело, новобрачные пришли ко мне с добрым отцом своим пить чай.

Молодая, лет не более семнадцати, была в шелковом темноватом сарафане, в большом кисейном фартуке и в белой заячьей шубке, крытой зеленою шерстяною матернею. На голове яркий малиновый шелковый платочек. Она была сложения нежного и очень бледна, черты лица у нее были тонкие и красивые, а глаза, хотя и небольшие, но черные, смелые и

блестящие.

Мужу на вид казалось не больше 20 лет; он был в новой расшитой на груди дубленке и так в ней и остался на все время посещения.

Оба они, как взошли, так поклонились мне в ноги и, вставши, поцеловались со мною, а потом поклонились Митровичу и с ним поцеловались. Митровичу, которому приходилось чаще всего жить или в *нерусской* Одессе, или в Австрии, Румынии и Германии – до того понравилась эта патриархальная оригинальность, что он и не стал скрывать своего удовольствия, громко и душевно восхищался стариною, и тотчас же послал моего слугу в лавку купить молодой в подарок хороший шелковый платочек, внимательно заботясь о том, чтобы он был не похож цветом на тот, которым была покрыта ее голова. И меня тоже очень тронуло это строгое и серьезное соблюдение древнего обычая, без малейшего оттенка подбострастия или лести...

И какая могла быть тут лесть? Про Митровича и говорить нечего; они его видели в первый раз и не знали даже, кто он такой, а про себя... про русского консула в Тульче... надо

сказать правду: «среда» нередко нужнее всякому политическому русскому деятелю в таком разлагающемся и сложном государстве, каково турецкое, чем этот деятель «среде»...

Мы провели этот вечер очень приятно.

Молодых я посадил на почетное место, на диван, за столом, а мы, старшие, сели кругом стола на стульях и пили чай. В угоду молодой мы с Митровичем оба отказались даже от папирос и пили чай, не куря, чего я, по крайней мере, ни для кого, насколько мне помнится, — по охоте не делал, ибо хотя я очень люблю хорошие светские гостиные, но ничто вас так не раздражает, как эта какая-то нерусская претензия многих наших знатных дам не позволять у себя курить.

Обыкновенно я в таких случаях отказывался и от чая, но иное дело европейские претензии какого-то полурационалистического характера, и совсем простодушные предубеждения своеобразного отечественного и милого сердцу моему «обскурантизма»!

Семен Васильевич для себя и не требовал подобного воздержания; он привык иметь дела с курящими людьми, но наше внимание к

его похищенной по любви невестке, видимо, сильно его тронуло.

На другой день они оба вместе с Осипом Семеновичем Гончаровым обедали у меня и за обедом держали себя так хорошо, ели так ловко и прилично своими огромными рыбацкими руками, что дай Бог всякому. Они, даже не задумавшись, стали есть не хуже всех нас и пирожки с супом; ели именно так, как надо; тогда как многие европейцы не знают, что делать с этими пирожками, и я видел сам, как одна богатая венская немка, обедая в первом классе на русском пароходе «Таврида», положила, беспокойно озираясь, такой пирожок в суп!..

А наши староверы в поддевках и рубашках навывпуск даже и не озирались!..

После этого дружеского обеда мы втроем вдоволь побеседовали о текущих делах и вообще о политике, уверяя, что Гольденбергу нечего тут будет взять, если он приедет.

Случайное присутствие Семена Васильевича на турецком берегу имело для меня особое значение. Гончаров был человек характера очень живого, ума изобретательного и смело-

сти редкой; все со смехом и шутками да прибаутками (иногда и весьма неприличными, но всегда почти забавными) он совершал самые важные и разнообразные дела... Я, веря его основному, так сказать, расположению к России и к русской политике того времени, считал его в то же время способным на всякую выдумку и почти на всякий рискованный шаг, ввиду какой-нибудь ближайшей, очередной, по его мнению, цели. Я знал о его прежних сношениях с Кельсиевым, с поляками, с Герценом, с французским министром; знал, как он их всех обманул и как он их всех, так сказать, нам выдал и предал, добившись прежде с их помощью от Турции и Румынии нужных для староверов льгот... Я глядел на его длинную рыжую, с проседью бороду, на это вечно веселое лицо старого русского балагура, на его серые, беглые и смеющиеся глаза, и думал:

«Ты, пожалуй, напишешь и три письма в пользу поляков и Петра III, когда тебе что-нибудь сейчас нужно для твоих общенекрасовских, а может быть, даже и личных целей!.. Напишешь и опять обманешь поляков и вы-

вернешься, и отречешься как-нибудь искусно и от них, и от писем, потому что и по душе более все-таки ты нам сочувствуешь, да и по острому разуму твоему понимаешь, что настоящее и ближайшее будущее за нас, а не за них. Я не верю что-то, хитрый и милый рыжий мой, разгульный и набожный, истинно великорусский старик, на этот именно раз, я что-то не верю тому, что ты написал письмо в пользу Гольденберга. Не то время!.. Ты так умен, лукав и опытен... И так как ты пишешь по-детски, самыми грубыми и крупными печатными палочками, то всякий поляк, знающий по-русски, может, не рискуя быть сразу уличенным, подделаться под твой, почти безличный почерк, – с какою целью?.. Мало ли их, этих целей! Бывают у пройдох и личные цели – подслужиться, сведение важное сообщить. Сочинил же тот скуластый незнакомец, что из Галиции идет на нас «атака» чуть не бесчисленной кавалерии?.. Сочинили это письмо за тебя другие, мне все сдается, бедный мой Осип Семенович, а ты тут ешь мои пирожки и остришь, и про Герцена мне рассказываешь (атеизму в таком умном челове-

ке все удивляешься), а моих секретных сведений про тебя и не знаешь! Не верю что-то я им, этим сведениям, Осип Семенович, не верю!.. Но знаешь, «береженого Бог бережет»... Попробую пока на всякий случай подозревать тебя...»

Так я размышлял, глядя на Гончарова; но тихий, основательный, сдержанный и осторожный Семен Васильевич производил на меня другое впечатление. Он был также очень влиятелен в своей среде, и раз он не согласен был с Гончаровым, раз он замешан был в эти «письма», половина дела была сделана...

Я больше верил в его личный характер, чем в характер Гончарова, и это неожиданное свидание с ним и долгая беседа утвердили меня окончательно в мысли, что это все вздор... Хотя, разумеется, вздор такого рода, которым пренебрегать заранее мы никакого не имеем права.

Итак, мы поговорили, простились друзьями, и Семен Васильевич уехал в Измаил со своими возлюбленными детками. Гончаров отправился тоже в одну из некрасовских деревень, а я остался на своем месте... Остался и ждал. Гольденберг все не показывался, и слухов о нем не было никаких. Я стал уже и забывать о нем за другими заботами и впечатлениями...

Однажды, под вечер, мне вздумалось зайти в одну кофейню. Кофейня эта находилась в месте вовсе не торговом, в дальней улице, на углу тихого переулка, и отличалась приличным, как бы семейным характером. Хозяин ее, полурусский-полупольский еврей, предпочитал избранное общество многолюдству... У него были две взрослые дочери, которые, как «барышни», играли на рояле, пели и занимали разговором гостей. Рассказывают, будто бы они не дочери ему, а прижиты были где-то в России женою его, еще до брака с ним, от какого-то дворянина, который и доставил им возможность получить небольшое образова-

ние.

В эту кофейню ходили иногда консулы австрийский, греческий, французский, турецкие офицеры и чиновники, которые вообще держат себя в обществе очень скромно и хорошо, и торговые люди всех наций и самого высшего по состоянию слоя. В ней, в этой кофейне, никогда не бывало ни шума, ни крика, ни буйства, и даже случалось очень редко, чтобы разом в ней собиралось больше трех-четырёх посетителей. Для карьеры молодых девушек это было довольно выгодно. К ним приходили точно в гости, слушать их музыку и беседовать с ними о том о сем. Старшая — Софья, вскоре после моего приезда вышла замуж, по любви, за грека, служившего чиновником Порты; он был довольно хорошо принят в греческих домах торгового сословия. В кофейне оставалась тогда одна младшая, Розалия; она была во всех отношениях гораздо лучше и даровитее сестры и одна продолжала привлекать посетителей.

В те сумерки, о которых я хочу рассказать, я зашел туда случайно. Пошел гулять, иду мимо; улица такая тихая; в окнах кофейни огонь

и слышно, что Розалия что-то играет... Спирной к окну сидит мужчина... Я очень давно не заходил... Подумал и зашел.

Поздоровался с Розалиею и, обернувшись, увидел того мужчину, который сидел у окна.

Розалия, «по-семейному», тотчас же рекомендовала нас друг другу: «русский консул, г. Леонтьев; г. Гольденберг», – сказала она как ни в чем не бывало.

Мы поздоровались; Гольденберг раскланялся как нельзя уважительнее, avec empressement[3]. Так вот он, мой страшный Петр Феодорович, еще раз восставший из мертвых!.. Не ожидал!

Мы сели, и начался веселый, общий, неважный разговор. Я смотрел на своего противника внимательно.

Он показался мне роста среднего; был бледен, как-то сер, низок, очень длиннолиц, долгоног и носил длинные и широкие книзу польские усы. Одет он был в какое-то форменное австрийское платье, военное или нет, не знаю. Может быть, я теперь уже и сбился в чем-нибудь, только мне словно помнится, что Розалия говорила, будто он военный доктор

австрийской службы.

Прекрасно! Мы сидели с Петром III за одним столом, курили и пили кофе. Розалия слегка поддерживала общий разговор. Я похвалил ее игру, спросил: зачем она ее прекратила с моим приходом, и просил возобновить.

– Что же вам сыграть теперь, не знаю, – сказала она.

– Что-нибудь наше, русское.

– Русское! А, ну хорошо! – воскликнула она, и вдруг, плутовски и весело оглянувшись на меня, заиграла и запела:

*Еще Польша не сгинела,
Покель мы ...*

Гольденберг «деликатно» чуть-чуть улыбнулся и быстро взглянул на меня... Розалия вдруг остановилась, захохотала и, краснея, обернулась ко мне с видом, почти умоляющим, точно говоря: «Не сердитесь, простите мое дурачество».

– Продолжайте, продолжайте, – сказал я ей с полной искренностью, – музыка эта мне ужасно всегда нравилась... Она такая лихая; так приятно возбуждает мне нервы... Играй-

те, играйте, – повторял я.

Но она не захотела продолжать; она не верила, видимо, искренности моего желания и боялась потерять выгодного для кофейни посетителя.

Я вздумал обратиться тогда к Гольденбергу и сказал ему так:

– М-ше Розалия напрасно не верит мне... А я в самом деле очень люблю все политические польские вещи. Чем они нам вредят?.. У нас, в России, например, славится опера Глинки «Жизнь за царя»... Там поляки веселятся и пируют на радостях, что задумали убить русского царя... Они пляшут мазурку, и пляска эта, и музыка, и костюмы польские до того хороши, что мы всегда с восторгом слушаем и заставляем повторять... Мы ведь очень хорошо знаем, что из этого геройства и молодчества ничего все-таки не выйдет... И победа окончательно всегда на нашей стороне... Я нахожу даже, что поляки своими движениями скорее полезны, чем вредны нам... Ведь вы, если я не ошибаюсь, немец, и потому я говорю с вами так прямо... Не правда ли?

Гольденберг уже не улыбался, но пока я го-

ворил, он стал серьезен и сидел неподвижно, вытянув длинные и тонкие ноги свои; но когда я кончил и спросил у него так «искатель-но» и невинно: «Не правда ли?» – он вдруг взволновался, как бы с изысканною учтивостью что-то прошептал, вроде: «О... конечно»... или... «Oui, oui, sans doute»[4]... И ни слова более.

Закончил и я; собираясь уйти, заплатил за кофе, простился с Розалиею; подал и ему руку. Он вскочил поспешно, расшаркался почти-тельно и пожал мне руку как нельзя сердечнее...

В тот же вечер г. Глизян принес мне известие об его приезде.

– Опоздали вы, – сказал я ему и рассказал о неожиданной нашей встрече.

Тем все и кончилось. Гольденберг скоро уехал, и я больше никогда уже о нем не слышал.

«Синица собралась море зажечь» и не зажгла.

Да и собиралась ли она зажигать его в самом деле?..

Может быть, весь этот слух был не хуже со-

общения моего грубого «варшавского выходца», который хотел ехать к Коцебу, «потому что скоро произойдет атака!».

Атака на карман – сперва консульский, а потом и на генерал-губернаторский.

Синица моря не зажгла: «медведь галицийский» ни одного даже бычка в раскольничьем стаде не тронул, а доставил лишь мне несколько приятных дней умственного и патриотического возбуждения.

И вера моя в балагура Гончарова оказалась верою правою, потому что он вскоре после всего этого решился на шаг, весьма для себя тяжелый и даже опасный – предал мне в руки одного староверческого священника, беглого из России и обвиняемого в убийстве, человека влиятельного, и характером, и физической силою, без прибавления, ужасного.

Итак, все выходило тогда в Тульче «по-нашему», и нам, русским, на выгоду. Как же мне не вспомнить об этом времени с радостью?

Гольденберг исчез; «скуластого солдафона» моего тоже долго не было видно; раз как-то встретил я его на улице, с синим шерстяным шарфом на шее. Он поклонился мне и больше

ничего. В Одессу не ехал и денег еще что-то не просил. Но потом он вдруг о себе напомнил, да еще и как!..

Приносят мне раз русскую записку от человека не русского, но хорошего, надежного, довольно мне коротко знакомого, да и вообще в тех краях весьма известного.

«Поспешите распорядить... Долгом христианским считаю предотвратить большое несчастье... Такой-то (мой солдафон, мой выходец) отправляется сухим путем в Руцук для предания некоторых болгар турецкому начальству. Обещается открыть заговор... Я боюсь новых казней... Сообщено мне человеком знающим. Сами угадаете, кем».

Записка была даже не подписана; видимо, что, жалея болгар, автор ее и себя хотел, по возможности, в этом случае оградить хотя сколько-нибудь. Я сказал, что он был не русский, хотя по-русски знал порядочно; скажу еще, что он был и не православный, не грек, не болгарин, не румын, не серб, не турецкий подданный, а человек западный и по крови, и по вероисповеданию...

Другой, знающий, о котором он упоминал,

тоже был иноверец, но прекраснейший человек, и деловой, и благородный.

Друзья политические находились у нас везде, когда мы мало-мальски умели вести себя.

Какова, однако, шельма, бестия мой скуластый выходец!.,

Ну, постой теперь!., ты ведь у меня «русский подданный»! Я сам тебя произвел... Хорошо!..

Полетела весть достодожным способом в Галац: «Известите в Руцуке Сученкова (генерального тогда консула) то-то и то-то. Можно схватить самим такого-то... Имеет от меня русский вид».

Из Галаца не замедлили ни минуты...

Время тогда было не шуточное. Вся Турция была в глухом брожении. Я напомнил уже раз или два в записках моих, что в Крите еще кипело тогда восстание. Еще недавно болгарские небольшие банды (*вопреки нашим советам*) врывались из Валахии в Турцию через Дунай и были уничтожены; еще очень недавно Мидхат-паша вешал болгар в Руцуке: он в одно даже время со мною ехал из Варны к Ду-

наю с этой целью. Недавно и австрийский консул в Руцуке, г. Мартирт, сам лично пришел на австрийский пароход с турецкими солдатами арестовывать двух новых «Инсаровых» – болгарина и серба, и их тут же, в каютах первого класса, убили, потому что они не хотели сдаваться и стали в турок стрелять... Окровавленные трупы их кинули на берег; перепуганные пассажиры, заранее спущенные на пристань, возвратились на места свои, и пароход пошел далее.

Как же было тут не спешить, и как было возможно тогда церемониться с людьми, подобными моему «псевдоподданному»?

Схватить его и стереть с лица земли!..

Правда, мы болгар настойчиво воздерживали от неразумных по силам их движений; но другое дело «возбуждать», и другое – спасти погибающих...

Надо было «братушек» спасти...

И слава Богу – все обошлось и на этот раз благополучно.

Извещены ли были подозреваемые болгары вовремя и приняли свои меры предосторожности, или новый руцукский заговор был

точно таким же вымыслом корыстного усердия, каким я считаю и всю эту историю новой пугачевщины под руководством Гольденберга, или Каминского, во всяком случае, мы, служившие на Нижнем Дунае, очень скоро получили от Сученкова из Рущука успокоительное уведомление; он извещал, между прочим, что не нашел повода арестовать моего «выходца». Негодяй этот, вероятно, кидался туда и сюда с разными преступными политическими выдумками, чтобы перехватить что-нибудь то от нас, то от турок, то, может быть, и от кого-нибудь еще.

Ко мне он более не показывался; но, видно, достал, наконец, где-нибудь денег на рискованную поездку в Одессу, к генералу Коцебу. Что он еще сочинял – не знаю, но только я месяца через два-три после нашего с ним свидания получил бумагу от новороссийского и бессарабского генерал-губернатора с кратким вопросом: «На каких основаниях выдан *такому-то* permis de re sidance как *русскому* подданному?..»

Вопрос совершенно основательный.

Я отвечал на него приблизительно так:

«Чсть имею почтительнейше сообщить вашему высокопревосходительству, что новый permis de residence я NN-скому выдавал на основании представленного им по прибытии из Галаца в Тульчу просроченного прежнего подобного же вида, выданного ему консулом нашим в Галаце. Разница та, что в прежнем виде он был обозначен «варшавский выходец», я же нашел нужным (конечно, не совсем правильно) пометить его на новом русском подданным, ввиду важных и особенных политических целей. Действительных же прав русского подданного он, насколько мне известно, не имеет...

Чсть имею и т. д.».

В этом роде был мой ответ, и этим объяснением все дело кончилось.

Вредного человека этого или просто выслали из Одессы обратно, или отправили еще куда-нибудь, куда и была ему, по всем признакам, давно дорога!

В течение полуторагодовой жизни моей в этой веселой, деятельной и пестрой Тульче у меня было много и других интересных дел и поучительных встреч, только не с поляками,

а с людьми других национальностей и религий. О поляках же тульчинских я сказал здесь все, что только можно было мне о них сказать. Я предупредил, впрочем, при самом начале моего рассказа, что к моему приезду в этот край антирусская эмиграция, мнившая что-то серьезное здесь создать, уже почти вся растаяла, рассеялась и погибла.

Я увидел одни только жалкие подонки ее.

Примечания

«Дальше нельзя!» (лат.)

[^^^]

2

«свидетельство о проживании» (*фр.*)

[^^^]

3

ПОСПЕШНО, С ГОТОВНОСТЬЮ (*φp.*)

[^^^]

4

«Да, да, без сомнения» (фр.)

[^^^]